



**Я ПРЕДАЛ
РОДИНУ**

**ПЁТР
ГРИГОРЕНКО**

**В ПОДПОЛЬЕ
ВСТРЕТИШЬ
ТОЛЬКО КРЫС**



Петр Григорьевич Григоренко

В подполье встретишь только крыс

Серия «Я предал Родину»

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=129069

*В подполье встретишь только крыс : Алгоритм; Москва; 2014
ISBN 978-5-4438-0742-3*

Аннотация

Поверив в юности в идеалы революции, генерал Григоренко верой и правдой служил стране. Плоть от плоти системы, он стал одним из самых ярких деятелей диссидентского движения 60-70-х годов в СССР. Именно шоком властей от того, что такой человек выламывается вдруг из их среды, объясняется, видимо, то, почему Григоренко сажают не в тюрьму, а в психушку. Наверное, он действительно казался сумасшедшим... Воспоминания генерала-диссидента – один из интереснейших документов безвозвратно ушедшей эпохи. Первые варианты рукописи мемуаров генерала П. Григоренко исчезали: врачи психушки изымали, экземпляры пропадали в КГБ. Только оказавшись на Западе, генерал смог дописать свою книгу. Это исповедь разочарованного в советской системе человека, до поры до времени считавшего все неудобства

советского строя случайными, а потом вдруг разглядевшего в них систему.

Содержание

От автора	5
Рывок к свободе	7
Конец ознакомительного фрагмента.	60

Петр Григорьевич Григоренко

В подполье встретишь только крыс

От автора

Я прожил долгую и сложную жизнь, пережил времена смутные, бурлящие и жуткие, видел смерть, разрушения и пробуждение, встречался с множеством людей, искал, увлекался, заблуждался и прозревал, жил с людьми и для людей, опирался на их помощь, пользовался их добрыми советами и поучениями; многие из них оставили заметный след в моей жизни, повлияли на ее формирование. Книга эта прежде всего о них. В их числе и те, без кого меня вообще не было бы такого, как я есть. Им эта книга посвящается:

Родителям моим – отцу Григорию Ивановичу Григоренко и матери Агафье Семеновне (в девичестве Беляк) – давшим мне жизнь;

Первым духовным наставникам – дяде Александру (Александру Ивановичу Григоренко) и священнику отцу Владимиру Донскому – заронившим доброе в душу мою;

Жене моей – Зинаиде Михайловне Григоренко (в девичестве Егоровой) – ставшей другом и опорой в нелегком пути моем;

Детям и внукам – им жить.

Трудясь над книгой, я не пытался создать произведение в поучение современникам или потомкам. Больше того, я не думаю, что чужая жизнь может быть примером для других. Каждый торит свой собственный путь. Зачем же я писал, может спросить читатель. Отвечу вопросом на вопрос – «а зачем люди исповедуются?» Это моя исповедь. Я честно пытался рассказывать одну только правду, как она представляется мне. И если рассказанное мною сможет послужить кому-то материалом для размышлений, я буду считать, что трудился не даром.

Автор

Рывок к свободе

7 сентября 1961 года. День рождения нашего сына Андрея. Ему сегодня 16 лет. Сегодня же начинается партийная конференция Ленинского района г. Москвы, на которую я делегирован парторганизацией академии. Математическая средняя школа № 52, в которой учится Андрей, находится в 15–20 минутах ходьбы от помещения, где проводится конференция. И мы с женой договариваемся, что придем в школу и начерно поздравим Андрея.

Конференция открылась в 10 часов утра. Первый доклад «О программе партии». Как только объявили повестку дня конференции, я подал записку с просьбой предоставить мне слово по первому докладу. Пока что это не вызвало никаких эмоций – подача записки еще ничего не определяет. Списки выступающих составляются заранее, а такие, как моя, «дикие» фамилии вписываются после списка. Выступать же дают только тем, кто в списке. Чтобы получить слово, «дикарю» за это надо еще побороться. А я еще не решил, буду ли бороться. И думать пока что не хотелось. Доклад журчал усыпляюще. Ни одной оригинальной мысли. Простое повторение того, что записано в изданном проекте программы партии. Слушать такой доклад бессмысленно. Думаю об академии. Сегодня второй день, как наша кафедра начала свои занятия в новом учебном году... Как там дела? Вчера я чи-

тал на первом курсе свою первую (вступительную) лекцию. Я всегда придавал большое значение началу занятий на первом курсе, считая, что первая лекция закладывает у слушателей отношение к предмету на весь академический курс. Вводная лекция 4-х часовая. 2 часа вчера и 2 часа завтра (8 сентября). Готовил лекцию основательно. Вчерашняя закончилась непривычно для академии, под гром аплодисментов.

Думаю об Андрее и жене, об Угор-Жипове, где был зачат Андрей, и об Ондаве, где могла оборваться моя жизнь. Под эти мысли не заметил, как закончился доклад, хотя, вместе со всеми, поаплодировал докладчику за то, что закончил. Начались прения. И чем дальше они двигались, тем тревожнее билось мое сердце. Надо было решать. В это время, если бы кто знал о моем намерении, ему бы ничего не стоило отвлечь меня от выступления. Но не знал никто. Я не сказал никому, что собираюсь выступать. Я не был уверен, что выступлю, но твердо знал, что любой, к кому бы я не обратился, посоветует не выступать.

Проходит час. На исходе второй. Сердце бьется у самого горла. А решения все нет. Наконец, подходит решающий момент. Председательствующий, объявляя очередное выступление, не называет, кому подготовиться. Для меня — ясно. После этого выступления президиум предложит прекратить прения: основной список, значит, закончился. «Дикарям» давать слово не собираются. Чтобы выступить, надо вступать в борьбу. Но у меня нет ни решения, ни решимости.

Огромный зал, до краев наполненный безликой (для меня в данный момент) и враждебной массой, сковывает мою волю. В голову настойчиво лезет простейший выход – молчать. Как решит собрание, так пусть и будет. Прекратят прения, значит, не судьба мне выступать сегодня. А продолжают – выступлю. Такое рассуждение явное лицемерие. Я прекрасно знаю по многолетнему опыту, что пройдет предложение президиума, тем более, если никто не выступит против этого предложения. Всем надоело слушать галиматью, которая уже около 4 часов звучит с трибуны, да и привычка следовать за руководством подействует: проголосуют за прекращение единогласно. Хотя нет, я для успокоения своей совести могу проголосовать и против. Но от этого ничего не изменится.

И пока мои мысли метались так беспомощно, последний выступающий сошел с трибуны. Поднялся председательствующий: «Товарищи! В прениях записалось 14 человек, выступили 12. Поскольку все основные вопросы программы выступлениями охвачены, есть предложение – прения прекратить». И в это мгновение меня кто-то подхватил и поставил на ноги. Так и не приняв решения, я громко и четко произнес: «Прошу слова по этому вопросу!»

– Да, говорите, товарищ Григоренко, – ткнул карандашом в мою сторону председательствующий. Я, ничуть не удивившись тому, что он меня узнал с довольно большого расстояния (не так уж близко мы были знакомы), сказал: «Я, наоборот, считаю, что выступающие очень мало говорили о про-

грамме. Больше о местных делах. Я предлагаю дать выступить и остальным двум. Может быть, они как раз и затронут важные программные вопросы». Я сел. Председательствующий как бы не слышал мою фразу, так как в ответ на нее бросил в зал: «Товарищ Григоренко просит дать ему слово».

– Дать! – раздалось из зала.

– Возражений нет? – спросил Гришанов.

– Нет! – ответил зал.

– Товарищ Григоренко, вам предоставляется слово, десять минут.

Я поднялся и пошел. Что происходило со мной в это время, я никогда рассказать не смогу. Я себя не чувствовал. Такое, вероятно, происходит с идущим на казнь. А может это особое чувство, вызванное гипнотическим влиянием массы, которая сосредоточила все внимание на мне. Во всяком случае, это было страшно. Более страшного я никогда не переживал. То был самый жуткий момент моей жизни. Но это был и мой звездный час. До самой трибуны дошел я сосредоточенный лишь на том, чтобы дойти. Заговорил, никого и ничего не видя. Как и что я говорил, описывать не буду, как не буду приводить и подготовленный мною заранее текст выступления, так как пользовался им лишь частично, да и то преимущественно по памяти, не глядя в текст. Лучше приведу стенограмму. Она, пожалуй, наиболее объективно отражает и содержание выступления и обстановку на конференции в это время. Вот эта стенограмма:

«Товарищи! Я долго думал: подняться или не подняться и нарушить спокойное течение конференции, и потом подумал, как Ленин, если бы он пожелал что-нибудь сказать, он обязательно поднялся бы (*аплодисменты*).

Товарищи! Проект программы коммунистической партии – документ такого огромного звучания и такой колоссальной мобилизующей силы, что даже критиковать его не совсем удобно, но именно это его большое научное и мобилизующее звучание обязывает каждого из нас повнимательней посмотреть в деталях, что нужно и что можно подсказать съезду партии, который будет обсуждать эту программу. Я лично считаю, что в проекте программы недостаточно полно отработан вопрос о путях отмирания государства, и вопросе о возможности появления культа личности и о путях борьбы за осуществление морального кодекса строителя коммунизма.

Почему я хочу сказать об этом? Потому что мы всегда должны обращаться к опыту. Надумать – это дело не такое сложное, всесторонне изучить опыт – это сложнее.

Какой же мы имеем опыт в вопросе о государстве и о культе личности? Сталин встал над партией; это ЦК установил. Больше того, в опыте нашей партии есть случай, когда у высшего органа власти, партии и государства, оказался человек, не только чуждый партии, но враждебный всему нашему строю, я имею в виду Берия. Если бы это был один случай, можно было бы не тревожиться, но мы имеем факт, ко-

гда другая коммунистическая партия, пришедшая к власти (Югославия), оказалась под пятой у порвавшего или враждебного человека, который изменил состав партии, превратил эту партию в худшую, сугубо культурно-просветительскую организацию, а не в борющуюся революционную силу, и ведет страну по пути капитализма. И это можно было бы считать случайностью, но мы имеем факт, когда албанские руководители становятся на тот же путь, и мы не имеем сильной, авторитетной албанской партии, которая могла бы противостоять этому.

Возникает вопрос – значит, есть какие-то недостатки в самой организации постановки всего дела партии, которые позволяют это. Что произошло в нашей партии?

Представьте себе, что удалось бы Хрущева уничтожить как Вознесенского и других. Ведь это чистая случайность, что в ЦК к моменту смерти Сталина оказались сильные люди, способные поднять партию с ленинской силой. Чистая случайность, что Сталин умер так рано, он мог жить до 90 лет (*шум, оживление в зале*).

Мы одобряем проект программы, в котором осужден культ личности, но возникает вопрос: все ли делается, чтобы культ личности не повторился, а личность, может быть, возникнет. Если Сталин был все же революционером, может придти другая личность (*шум в зале*).

Бирюзов (маршал, член президима конференции): Товарищи! Мне кажется, что нет смысла дальше слушать товари-

ща (шум в зале), потому что есть решение съезда по этому вопросу, определенное и ясное, а что эти высказывания имеют общего с построением коммунизма? Я думаю, что его надо лишить слова на конференции (*шум в зале. Голоса: неправильно! Пусть продолжает!*).

Гришанов (председатель, секретарь РК): Поступило предложение, ставлю на голосование.

С места: Предложение Бирюзова никаких оснований не имеет (*голоса: Правильно!*) Предоставили слово – пусть выскажется.

Гришанов: Я ставлю на голосование. Кто за то, чтобы прекратить выступление т. Григоренко? Кто за то, чтобы продолжать? Большинство. Таким образом, т. Григоренко, у вас осталось 5 минут. Продолжайте.

Григоренко: Я считаю, что главные пути, по которым шло развитие культа личности, это, во-первых то, что отменили партмаксимум, очень мало возвращали на производство людей, которые забюрократились, ослабили борьбу за чистоту рядов партии. Вы посмотрите, сколько пишут, что такой-то воровал, обманывал покупателей, а потом сообщается, что „на такого-то наложено партийное, административное взыскание“. Да разве таких людей можно держать в партии?

Я считаю, что выступление т. Бирюзова в отношении лишения меня слова не относится к ленинским принципам, потому что этот способ зажима осужден. В партии запрещена фракционная борьба, но в уставе прокламировано, что член

партии имеет право со всеми вопросами обратиться в любой орган. Я и выступаю на партийной конференции.

Мои конкретные предложения следующие. Усилить демократизацию выборов и широкую сменяемость, ответственность перед избирателями. Изжить все условия, порождающие нарушение ленинских принципов и норм, в частности, высокие оклады, несменяемость. Бороться за чистоту рядов партии.

Необходимо прямо записать в программу о борьбе с карьеризмом, беспринципностью в партии, взяточничеством, обворовыванием покупателей, обманом партии и государства в интересах получения личной выгоды, что несовместимо с пребыванием в партии. Если коммунист, находящийся на любом руководящем посту, культивирует бюрократизм, волокиту, угодничество, семейственность, и в любой форме зажимает критику, то он должен подвергаться суровому партийному взысканию и безусловно отстраняться от занимаемой должности, направляется на работу, связанную с физическим трудом в промышленности и сельском хозяйстве (*Аплодисменты*).

Гришанов: Слово для справки просит тов. Курочкин.

Курочкин (генерал-полковник, начальник академии им. Фрунзе): Я хочу дать краткую справку. Тов. Григоренко является членом партийной организации Военной академии им. Фрунзе. До выступления тов. Григоренко здесь, на районной партийной конференции, он с этим вопросом у нас в

партийной организации не выступал. Так что этот вопрос в нашей парторганизации не ставился на обсуждение, и нельзя сказать, что это есть мнение партийной организации академии (*голос: Он этого и не говорил. Шум в зале*). Это все личное мнение тов. Григоренко. Эту справку я хотел дать.»

Сразу же был объявлен перерыв. Когда я вышел в фойе, оно буквально бурлило. Шли разговоры на очень повышенных тонах. Самая большая группа сгрудилась у одной из стен, напирая на стоящего у стены Гришанова. Проталкиваясь мимо этой группы, я услышал, как невысокий плотный мужчина с седой головой и молодым лицом возбужденно кричал прямо в лицо Гришанову: «До чего распустились! Даже на партийную конференцию тащат свои чины. Тот генерал как коммунист выступал, а на него большие звезды (маршала) напустили, чтобы рот закрыть. Пораспустили чинуш...» Я быстро шел через фойе, но ясно слышал, что кругом разговоры шли вокруг моего выступления и больше всего возмущались вмешательством маршала Бирюзова. Меня это не только не обрадовало, обеспокоило. На сердце стало еще тревожнее. Пронеслась мысль: «Этого мне не простят. Скажут – возбудил отсталые настроения, враждебность к высшему руководящему составу». С этим я и покинул клубное здание Московского университета на Ленинских горах, где проходила наша конференция. Был обеденный перерыв, и мне надо было торопиться на встречу с женой и сыном.

После перерыва состоялся доклад по проекту устава, и на-

чались прения. После первых двух выступлений объявили перерыв. Я обратил внимание, что не было объявлено, кто выступает после перерыва первым, что обычно делается.

Я сидел в фойе, разговаривая с полковником Федотовым. Подбежал другой полковник: «Борис Иванович, – обратился он к Федотову, – тебя Аргасов (секретарь парткома академии) зовет». Тот поднялся и ушел. Я остался сидеть. Раскрыл газету. Через некоторое время обращаю внимание, что я в фойе один. Недоумеваю: «куда же народ-то девался» Такой «единодушный» уход можно объяснить только одним – где-то что-то дают делегатам: огурцы, помидоры, фрукты, хорошую колбасу, рыбу и прочие продовольственные блага. Иду в буфет, но там пусто. В столовой тоже. Так ничего и не поняв, возвращаюсь в фойе. Вскоре оно начинает заполняться людьми. Ни у кого никаких свертков. Значит, нигде ничего не давали.

Иду в зал и усаживаюсь на свое место в амфитеатре. Впереди почти пустой партер. Делегаты явно не торопятся заходить, хотя время, отведенное для перерыва (20 минут) давно прошло. Снова раскрываю газету. Вдруг позади шорох и тихий женский голос: «Товарищ генерал, сейчас вас будут разбирать». Я оглянулся, сзади стояла молоденькая работница с шелкоткацкого комбината «Красная Роза». Я живу рядом с этим комбинатом. На работу хожу мимо него. За годы многие лица отпечатываются в мозгу. Запомнил и эту девушку. Когда в начале конференции избранные члены президиума

поднимались на сцену, мой взгляд легко вычленил знакомое лицо девушки с «Красной Розы». Сейчас она стояла позади меня и, сглатывая слова, быстро говорила: «Они там хотят, чтобы разбор для Вас был неожиданный. А я думаю – пойду и скажу Вам. Они там говорили, что если Вы покаетесь, то Вам ничего не будет. А если не покаетесь, то они сделают Вам очень плохо. Исключат из партии и из армии. Покайтесь, пожалуйста, ну что Вам стоит», – закончила она, просяще глядя на меня. На глаза ей набежали слезы.

– Милая девушка, – улыбнулся я, – большое спасибо за предупреждение. А за остальное не беспокойтесь. Я сумею постоять за себя.

Конференция вскоре открылась. Гришанов объявил: «Делегация военной академии им. Фрунзе просит дать слово ее представителю для внеочередного заявления». В моем мозгу автоматически пронеслось: «Так вот почему не был объявлен первый выступающий после перерыва».

Представитель академии был немногословен. «Наша делегация обсудила выступление члена нашей делегации тов. Григоренко, признала его политически незрелым и просит конференцию лишить тов. Григоренко делегатского мандата».

Сразу же за нашим представителем выступили один за другим двое представителей других делегаций. Они почти слово в слово произнесли: «Наша делегация обсудила предложение делегации военной академии им. Фрунзе о призна-

нии выступления тов. Григоренко политически незрелым и о лишении его делегатского мандата и поддерживает это предложение».

Как только закончил второй из «наемных убийц», как шутники в партии называют тех, кто выступает с предложениями, заранее подготовленными партийным аппаратом, Гришанов сказал: «Есть предложение прекратить обсуждение и перейти к голосованию. Кто за...» В зале царила гробовая тишина. В этой тишине я, не поднимаясь с места, обычным разговорным тоном сказал: «Хотя бы для приличия предложили слово мне». И Гришанов услышал. Споткнувшись на «кто за...», он воскликнул: «Ах, товарищ Григоренко, вы хотите выступить? Пожалуйста!» На этот раз я шел на трибуну, чеканя шаг. Голова холодная, в душе злое желание дать достойный отпор. Привожу это свое выступление по памяти. Выдать его стенограмму мне отказались. Почему? Сказать трудно, так как мотивировка отказа была прямо смешной: «За это выступление вас к партответственности не привлекают». Сказал же я следующее:

– За политическую незрелость выступления наказать нельзя. Нет партийного закона, допускающего это. Политическая незрелость устраняется политической учебой, политическим воспитанием.

– Политическая незрелость моего выступления никем не доказана. Приклеили ярлык и все. А на каких основаниях? Каковы конкретные обвинения? Чтобы конференция могла

принять столь жестокое решение, обвинение должно быть сформулировано конкретно, и мне должна быть дана возможность дать свои объяснения и возражения по всем обвинениям.

– Решение, если конференция его примет, будет вообще незаконным. Во-первых, потому, что устав запрещает обсуждение вопросов по существу, на собраниях, или по делегациям. Обсуждать по существу можно только на конференции. Руководство нарушило этот принцип. По моему вопросу решение уже принято – законно, конференцией при голосовании предложения тов. Бирюзова. И президиум, чтобы отменить это законное решение, раздробил конференцию по делегациям, которые собравшись без моего участия, решили вопрос без обсуждения.

Во-вторых, решение будет незаконно и потому, что конференция не вправе лишать кого-нибудь делегатского мандата. Отозвать меня с конференции могут только те, кто меня послал сюда. Конференции такого права не дано. И я прошу делегатов единодушно проголосовать против незаконного, политически незрелого предложения делегации военной академии им. М. В. Фрунзе.

Сходил я с трибуны спокойно, в сознании выполненного долга. Я чувствовал и понимал, что хорошо это для меня не кончится, но я видел, что выступление мое дошло до ума и души слушателей, произвело сильное впечатление на них. Обычный, нормальный человек весьма чуток на благород-

ство и мужество. И эти нормальные люди, хотя и с партийными билетами в кармане, видели, что на меня пошла огромная и жестокая машина и что я не отступил, а твердо отстаиваю свои права и тем самым их права. И их симпатии склонились в мою сторону. Это была первая моя правозащитная речь, и она, как потом и все другие, находила отклик в душах людей. Весь зал затих. В шоковом состоянии был и президиум. Я уже дошел до своего места, а всеобщее молчание продолжалось. Если бы сейчас голосовать, я не уверен, набрал ли бы президиум большинство. Но понимали это и они. Я увидел, как секретарь ЦК Пономарев Б. Н. наклонился к Гришанову и что-то зашептал. Тот подобострастно закивал, потом подхватился и бегом помчался к трибуне. Что он говорил, пересказать невозможно. Интересно бы прочитать стенограмму, но, думаю, ее нет. А если есть, то что-то бредовое. Он говорил без смысла, лишь бы говорить. Он нанизывал слова и фразы, не задумываясь над их содержанием.

Ему, очевидно, и была поставлена задача: снять напряжение многословной пустопорожней болтовней. Не менее 20 минут Гришанов «молотил гречку языком». К концу, люди, устав ловить смысл в бессмысленной речи, перестали слушать – начали позевывать и вести разговор друг с другом. Тут-то и выдвинулся «ударный эшелон». На трибуну вышел Пономарев. Смысла в его речи было вряд ли больше, чем у Гришанова. Но это была бессмыслица на высоком идейно-теоретическом уровне. Он говорил о том, что программа

— это вершина марксистской теории, что в ней разработаны коренные вопросы марксизма-ленинизма, а я лезу с обворочиванием покупателей и с другими мелкими вопросами. Он указывал на то, что «лучшие теоретические силы партии» трудились над созданием проекта (он, правда, «поскромничал», не сказав, что эти силы работали под его, Пономарева, руководством), что сам Никита Сергеевич посвятил много часов проекту. Я бросил реплику: «Так что же, его и обсуждать нельзя?» Но и на это он не обратил внимания и продолжал молотить: «Вопрос с культом Сталина партия давно разрешила». Кто-то с места крикнул: «так он же не о сталинском культе говорил, а о новом». Но Пономарев опытный демагог. Он продолжал свое, и делегаты постепенно вошли в обычный тон партийной конференции. Выступал все же секретарь ЦК и, какую бы чушь он ни нес, ему полагались аплодисменты. И он их получал.

Когда он сошел с трибуны, уже можно было голосовать. И Гришанов провозгласил: «Кто за то, чтобы осудить выступление тов. Григоренко как политически незрелое и лишить его делегатского мандата?»

Я сидел в четвертом ряду амфитеатра и потому весь зал был перед моими глазами. Когда Гришанов провозглашал свое «за», я с тоской подумал: «Ну вот так. Все знают, что прав я, и все, как один, проголосуют за уничтожение меня». И вдруг... Что это? Нет леса рук. Поднимаются отдельные руки, и то не сразу, а как-то несмело, вслед за другими. Под-

нялись менее трети рук. И у меня новая мысль: «А ведь люди-то лучше, чем я о них подумал». Но в это время Гришанов спросил: «Кто против?» Я изумленно смотрю в зал: ни одной руки против не поднялось. «Кто воздержался?» – еще раз возглашает Гришанов. И снова ни одной руки. И Гришанов, который прекрасно видел ту же картину, что и я, радостным голосом заключает: «принято единогласно. Товарищ Григоренко, сдайте свой делегатский мандат». Твердым шагом иду я к столу президиума, кладу мандат на стол и, глядя Гришанову в глаза, говорю: «Я подчиняюсь решению конференции, но остаюсь при убеждении, что оно незаконно... И принято незаконным *единогласием*», – подчеркнуто добавляю я. Пока я шел через зал, стояла прямо-таки давящая тишина. Уже когда я подходил к выходу, кто-то в ложе бельэтажа, с левой стороны шопотом произнес (очевидно для соседа): «Молодец генерал, не стал ползать». И этот шепот прозвучал на весь зал. А я с горькой иронией подумал: «Не хватало еще, чтоб аплодисментами проводили. Совсем бы как в Колизее Древнего Рима провожали красиво умирающего гладиатора».

Я вышел на улицу. Темно. Сеял мелкий дождик. Слякоть под ногами. Все под стать моему настроению. Видеть никого не хотелось. Пошел без цели по городу. Долго ходил. Без мыслей. Просто хотел утомить себя. Не хотелось думать о семье. Как отреагирует жена, дети? Жизнь моя и связанной со мной семьи попала на перелом. Старшие сыновья офице-

ры. Перспективы были ясные, радужные. Как теперь будет, когда отец попал в опалу, и как к этому отнесется Анатолий – мой старший? И второй сын – Георгий – офицер, слушатель артиллерийской академии. Отца и мачеху он любит, живет с нами. Но как у него сложится теперь судьба? Третий сын от первого брака – Виктор – офицер-танкист. Этот, кажется, не воспримет близко к сердцу мою опалу. Служить в армии он не хочет и потому ему даже на руку отцовские служебные неудачи. Ну, а как жена и дети от нее? Ну, старший – Олег – инвалид с детства – всегда с нами, а как поведет себя наш общий, 16-летие которого совпало с таким страшным для меня днем? И как сложатся отношения с женой, нелегкая жизнь которой станет еще труднее? Как она посмотрит на мою сегодняшнюю самостоятельность? Ведь я ей даже не намекнул на возможность такого развития событий.

Долго ходил я. Промок до нитки. Замерз. А вернувшись домой, начал с того, что обидел жену. Неизвестно почему и для чего произнес глупейшую фразу: «Ну, радуйся, меня удалили с конференции». Не впервой она не поддалась чувству обиды, а начала расспрашивать о происшедшем. Постепенно я разговорился. Все рассказал. Затем заговорили о возможных последствиях, и я почувствовал теплое плечо друга. Разговор слышал Андрей, и это имело свои последствия. Зинаида спросила: «А почему ты со мной не посоветовался?»

– А что бы ты мне посоветовала? – вместо ответа задал я

ей вопрос.

– Не выступать, – ответила она.

– А я это знал. И так как я сам был не очень тверд в своем решении, то и не хотел таких советов.

– Хоть ты и знаешь всегда все, – едко сказала она, – но в данном случае ты не все знал. Если бы ты со мной посоветовался, я бы сказала: это допустимо, если за собой имеешь подкрепление, тыл. Но если решил, я бы поняла, что это боль твоей души и что ты не можешь молчать больше, задыхаешься, я пошла бы на конференцию, независимо от тебя и незаметно для тебя, и там, на конференции, организовала бы тебе поддержку.

Я с удивлением уставился на нее. И мысль обожгла: «Да ведь все могло пойти иначе. Ведь при голосовании не хватало еще одного мужественного человека. Напряжение было такое, что стоило кому-то одному, кроме меня, подняться и крикнуть: „Да что же мы делаем? За честное, мужественное выступление мы хотим съесть человека!“ Это или что-то подобное, и все плетение президиума рассыпалось бы и полетело в тартарары». На это указывали не только мои наблюдения в тот вечер, но и позднее ставшие мне известными факты.

Во-первых, я виделся и говорил с несколькими руководителями делегаций. Все они рассказывали о том, как трудно было добиться от делегатов согласия на осуждение моего выступления. Только угроза, что райком будет разбирать

всех не голосовавших против меня как нарушителей партийной дисциплины, заставила их подчиниться. Один из руководителей делегаций (с промышленного предприятия) рассказал мне, что после моего второго выступления его делегаты взбунтовались: «Не будем голосовать за осуждение». «Я, – говорил он, – чуть ли не со слезами уговаривал их. Просил: Ну, ладно, не голосуйте за, но не поднимайте рук и против. Вообще не поднимайте рук, а то вы меня „зарежете“. Нас, руководителей, предупредили ведь, что останемся без партбилетов, если не добьемся единодушного осуждения вашего выступления».

Во-вторых, я несколько раз встречался с Демичевым, который в то время был первым секретарем МК. Вот уж лицемер так лицемер. При первой встрече он начал с того, что возмутился по поводу расправы со мною: «Я могу собрать сейчас всех инструкторов, и они все нам подтвердят, – говорил он, – что когда в тот же день вечером мы собрались для обмена мнениями по поводу проходящих районных конференций, я сказал инструктору, присутствовавшему на вашей конференции: напрасно вы раздули это дело».

Но я не захотел собирать инструкторов. Я сказал, что и без того верю, что именно это он сказал инструкторам. Но меня интересует, что он мне скажет по поводу незаконного решения конференции и по поводу того, как принято это решение.

– Не голосовали ведь делегаты. Меньше трети подняли ру-

ки «за».

— Да, — соглашался он, — большинство не голосовало. Большая часть делегатов прислала заявления в МК, в которых сообщают о своем неучастии в голосовании и о несогласии с принятым решением.

Меня эта новость страшно поразила. Она, вместе с рассказами руководителей делегаций, показывала, на какой тонкой ниточке висела судьба голосования. И наверняка жене удалось бы оборвать эту ниточку. Я был страшно поражен ее предусмотрительностью и смелостью. Но мне еще не раз предстояло открывать в ней новые качества и поражаться им. Поразило меня и то, что люди не боятся послать заявление-протест, но не решаются за то же самое проголосовать открыто. В этом вся система. В бюрократические учреждения можно в одиночку писать любые слезные жалобы. Вам, как правило, не ответят, но и не накажут, если дальше надоедать не станете. За коллективные же действия, если они даже выражаются в простом поднятии или неподнятии руки, если это неуютно начальству, жестоко покарают. Но меня сейчас интересовали не эти высокотеоретические рассуждения, а мой конкретный вопрос. И я спросил Демичева: «Вы, значит, знаете, что предложение об обсуждении меня за политически незрелое выступление и о лишении делегатского мандата фактически на конференции не прошло. А меня на основании этого решения разбирают в партийном порядке. Так что же теперь делать?»

– А ничего не сделаешь. Формально решение принято. Никто против не голосовал. Значит, на это решение опираются законно.

– Но у вас же есть письменные заявления большинства делегатов, что они не голосовали.

– Но не собирать же нам конференцию еще раз ради того, чтобы перерешить ваше дело.

– Зачем же собирать? МК как высшая инстанция, опираясь на письменные заявления делегатов, может отменить незаконное решение.

Но Демичев изворачивался и юлил, пытаясь вывернуться с помощью такой софистики: решение, конечно, принято с нарушением партийных законов, но по протоколу оно законно, и потому ничего поделать нельзя.

Но я не давал ему вывернуться, и тогда он принял другую тактику. Я, мол, поделать ничего не могу, так как на вас очень обозлены военные, а их поддерживает Пономарев, который был на конференции, и поэтому всегда может ответить на мое вмешательство: «Вы там не были, а я был».

– Поэтому попробуйте поговорить непосредственно с Борисом Николаевичем, – говорил мне Демичев. Но до этого я и сам додумался, еще в самом начале своих хождений по начальству, и обращался к нему. Но он сказал, что ему не о чем со мной говорить. Тогда Демичев прочувственно сказал: «В таком случае дело ваше плохо. Теперь только Никита Сергеевич может помочь вам, никто другой».

– А как же мне попасть к Никите Сергеевичу?

– Ну, это вы ищите пути.

– Как же я найду, если в нашей партийной системе не предусмотрены встречи «вождей» с рядовыми. Ведь некому даже заявить, что ты хочешь попасть на прием.

– У Никиты Сергеевича есть помощник. Ему надо позвонить.

– А телефон?

– Ну, это вы постарайтесь узнать.

– Вы же знаете, вы и скажите.

– Я не имею права распоряжаться этим телефоном.

Долго мы еще перебрасывались репликами по этому поводу. Я просил, он уклонялся от этих просьб. Но так как у меня не было другого способа добыть этот телефон и было много свободного времени, то я сидел, пока не получил этот заветный телефон.

Но не помог и заветный. Когда я позвонил первый раз, со мной разговаривали очень вежливо. Помощник Хрущева записал мою фамилию, спросил: «Никита Сергеевич знает вас?» Я ответил: «Да». И он мне назначил время, когда позвонить ему еще раз. Я позвонил вторично. Как только он услышал мою фамилию, так сейчас же весьма резко сказал: «Нет! Никита Сергеевич разговаривать с вами не будет!» И тут же: «А кто вам дал мой телефон?»

– А это уже не имеет значения. Раз Никита Сергеевич со мной разговаривать не будет, то для меня этот телефон ни-

какого значения не имеет, так же, как для вас несущественно, кто дал его мне.

Так закончились мои попытки обойти обычное партийное разбирательство по моему делу, попытки привлечь к этому делу внимание «сильных мира сего», добиться их вмешательства в это дело для прекращения произвола. На Никите Сергеевиче надо было прекращать эти попытки. Становилось ясно, что если до него со мной не захотел говорить Пономарев, а до Пономарева министр обороны маршал Советского Союза Малиновский Р. Я., то это значит, моя судьба была решена. Меня отдали на расправу партийной бюрократической машине. Мне это стало ясно уже, когда меня не принял Малиновский. Ведь это он, когда назначали меня на кафедру, говорил: «Вы единственная кандидатура на эту должность». Я не тянул его за язык, и когда он поблагодарил меня за то, что я «многие годы по своей инициативе разрабатывал один из важнейших вопросов для наших вооруженных сил и этой своей работой обеспечил создание столь необходимой кафедры». И вот с этим человеком он теперь говорить не хотел, хотя понимал, что таким отношением он санкционирует его изгнание из академии и гибель столь необходимой кафедры. Без категорического указания Политбюро он на это не пошел бы – подумал я тогда. Много позже я узнал достоверно, что такое указание было дано лично Хрущевым. Отказ последнего разговаривать со мной, сам по себе достаточно ясно говорил, что надо было быть готовым к самому

худшему.

Я, правда, и сам ничего хорошего для себя не ждал с самого начала. Сейчас мне надо было поговорить с Митей Черненко, услышать его голос, послушать его искренние глубокие суждения. Когда я вошел в его заваленную газетами, многочисленными вырезками и другой литературой комнатушку, он работал над очередным номером «Правды».

– Петро! – радостно воскликнул он. – Посиди несколько минут, я скоро освобожусь.

Митя подсел ко мне через некоторое время, тепло улыбаясь, сказал: «Я уже знаю о твоём подвиге, у меня были Зина и Андрей. Ну, Петро, не остроумный ты. На кого же властям опираться, если генералы начнут выступать против. Ведь это же ваша, генеральская, власть. Во всяком случае, войной она вас обеспечит навсегда. А ты что ж, выступаешь и говоришь: „Если бы Ленин поднялся и посмотрел на вас, то он тут же и умер бы снова“».

– Я такого не говорил.

– Не говорил? А я слышал уже от нескольких человек, и все повторяют эту фразу. Ну, ладно. А что же ты говорил в действительности?

– Вот, – достал я из кармана и протянул ему записку своего выступления. Не стенограмму, ее я тогда еще не имел, а записку, подготовленную мной перед конференцией. Словарно она, конечно, не совпадала со стенограммой, но суть та же. Митя внимательно прочел, перечитал еще.

– Ну и ну! Вот это наговорил. Хорошо, если кончится только исключением из партии и увольнением из армии.

– Да ну там. Это ты явно преувеличиваешь. Довольно легковесная и, будем честны перед собой, трусоватая речь. Разве так я мог сказать?

– Разве дело в том, что можешь сказать? Дело в том, как могут воспринять те, кто слушает. Как тебя восприняли? Расскажи подробно.

Я рассказал. Он слушал внимательно, сосредоточенно.

– Не так уж плохо. Твою речь основная масса приняла. Значит, выступление на высоком уровне. Трусовато, говоришь? Нет, разумно. Все выступление на партийном жаргоне с включением оборонных мотивов. Очень хорошо сделал, что подчеркнул – программа приниматься будет только съездом, значит, до принятия можно вносить любые предложения; наказывать за это по закону нельзя. Но тебя накажут. Найдут способ. Не могут не наказать. Ты рассказал рядовой делегатской массе, доступным ей языком то, что высшая партийная бюрократия принять не может. Ты связал вопрос о культе не с личностью, как это делает Политбюро, а с системой. Это тебе не простят, как не простят и твое заявление о недостаточности мер, принятых против культа, и о возможности появления нового культа. Последним ты, по сути, говоришь о рождении культа Хрущева.

Ну, а заявление о том, что нашей партии повезло в том, что выжил Хрущев и другие, а Сталин умер слишком ра-

но, звучат просто иронией, насмешкой. Но самое колючее, конечно, это твое заявление о том, что культ личности порождает высокие оклады, несменяемость, бюрократизация, а также твои предложения о демократизации выборов, об ответственности избранных перед избирателями, отмена высоких окладов для выборных должностей, широкая сменяемость, борьба за чистоту рядов партии – изгнание из нее карьеристов, любителей чужого, взяточников и прочих мазуриков. Для одного выступления, Петро, немало. И все это делегатской массой принято и тысячеустной молвой будет разнесено. Немало, Петро! Теперь надо подумать только, как с наименьшими потерями выйти из боя.

Бирюзов идиот. Своим выступлением он привлек большее внимание аудитории, а тебе помог защищаться. Тебя будут бить не за то, что ты сказал по существу. Это все аксиомы идеализированного ленинизма и за них ругать не принято. Тебя будут ругать, придираясь к отдельным формулировкам. Вот тут и используй Бирюзова: была создана нервная обстановка. У меня было записано совсем не так. А как, это уж дело твоего ума и рук твоих, напиши так, чтоб «комар носа не подточил».

Теперь второй их грубый просчет – попытка лишить тебя слова. Из-за этого им пришлось решенный вопрос ставить вторично, и сделали они это с грубейшим нарушением устава – вопрос, рассмотренный на конференции, переносят на делегации. Цепляясь за это нарушение, надо наступать – жало-

ваться в верхи. Попробовать к Пономареву. Ведь он же, как представитель ЦК, ответствен за это нарушение. Но на него надежды слабы. Это страшная сволочь. И к тому же в большом доверии у Хрущева. Более надежно действовать через Демичева. Это молодой работник, но хитер. Дипломат, будет стараться как-то замять дело, будет тянуть. Вряд ли ему захочется, чтоб скандал с нарушением устава, произошедший у него в организации, разгласился. Ну и до Хрущева надо попробовать добаться. У него иногда бывают приливы демократии. Но ты учти, что пока ты будешь раскачивать наступление в верхах, с тобой разделяются в низах. Тогда уже наступать вверху будет трудно. У нас же быстро вспомнят «ведущую роль масс», скажут: «Вы жалуетесь на конференцию, а Вас низовая партийная организация осудила, Ваши же товарищи».

В общем, Петро, дело внизу надо тормозить всеми силами. Здесь спешить будет Пономарев. Ему надо прикрыть собственное беззаконие решением всех партийных инстанций. Тебе спешить здесь некуда. Спеши с атакой в верхах. Хотя есть еще один выход – покаяться. Тогда, может, отделаешься небольшим партийным взысканием.

– Ну, это, Митя, не для меня.

– Я так и думал. Поэтому и сказал об этом в конце. Если каяться, то надо было вообще не выступать. Ну, а не каяться, значит, наступать вверху и затягивать внизу. Может, и удержаться в партии и в армии. Если б это удалось сделать без

покаяния, польза от выступления была бы двойной.

Так я и действовал. Но только в верхах все пошло по-иному... Мой главный козырь – нарушение устава – не действовал. Понял я, почему так, только после того, как узнал о происшедшем на областной партийной конференции в Курске, в тот же день – 7 сентября 1961 года. Там по программе партии выступил писатель Валентин Овечкин. Выступление свое он посвятил целине. При этом нарисовал безрадостную картину полного провала. Выступление было убедительно обосновано цифрами и примерами. Предложения были разумные, обоснованные. Речь неоднократно прерывалась аплодисментами. Никто не помешал выступающему. Своего, курского Бирюзова, у них не нашлось, и на обеденный перерыв все ушли спокойно. Но после доклада по уставу, все повернулось на тот же курс, что и у меня: собрание делегаций, без участия Овечкина, и как следствие: «Осудить выступление как политически незрелое и лишить делегатского мандата».

Овечкин сдал мандат и ушел. Все, казалось, прошло нормально, но, оказалось, нервы у Овечкина сдали. Он пришел домой и застрелился. Врачам удалось спасти жизнь, но не здоровье. Он уехал из Курска в Ташкент, тяжело болел и там вскоре умер.

Когда я узнал об этом случае, то понял, что это не случайное совпадение, что такова была установка Политбюро. Много позже я узнал, что эта тактика была разработана самим Хрущевым. Этот «демократ», готовясь к XXII съез-

ду, ожидал серьезной критики его деятельности. В связи с этим на совещании уполномоченных Политбюро, отправляющихся на предсъездовские конференции, дал такое указание: «В случае „демагогических“ выступлений или заявлений, „очерняющих“ деятельность ЦК, организовать осуждение этих выступлений как политически незрелых и лишать делегатских мандатов. Если нет уверенности, что конференция примет такое решение, то предварительно обсуждать его по делегациям». Поэтому мое «наступление» в верхах ничего не дало, и дать не могло. Зато в низах у меня неожиданно нашлись союзники, и рекомендованная Митей тактика оказалась успешной. События здесь развивались так.

На следующий день, то есть 8 сентября в 10 часов я должен был читать вторую часть вводной лекции. Я пришел на кафедру в 9 часов и начал просматривать наглядные пособия. На душе было пакостно. Ночь я почти не спал и чувствовал себя неважно. Но мысль о лекции взбадривала. Я с волнением ожидал второй встречи с аудиторией. В 9.30 раздался звонок. Звонил начальник учебного отдела генерал-майор Вельский.

– Петр Григорьевич, ваша лекция сегодня не состоится. Время ее проведения я сообщу.

– Оперативно работаете, тов. Вельский, а я думал, опоздаете. – Я положил трубку.

Было ясно. Не хотят, чтобы я встретился со слушателями. Делать было нечего. И я внезапно почувствовал себя боль-

ным. Болело горло и, видимо, была температура. Вчерашняя прогулка не прошла даром. И я пошел домой.

– А что же лекция? – встретила меня жена вопросом.

– Позаботились о том, чтоб я не подействовал разлагающе на молодежь. Лекцию отменили.

– А ты чего ожидал? Сам знал, на что идешь. Поэтому не придавай значения. Это все мелочи. И таких «мелочей» еще много будет. А ты приготовься платить по крупному счету. Придется с партбилетом расстаться. Да ничего, проживешь. И с армией придется расстаться. Это труднее будет перенести. Но ты же сильный, найдешь себе другое дело – не превратишься в тех пенсионеров, что «козла» на бульваре забивают или в кастрюли на кухне заглядывают. А пока пойди полежи. Ты что-то плохо выглядишь.

– У меня, верно, температура.

Она подала градусник. Я поставил. 38,1. Улегся в постель.

Вечером пришла наша приятельница. Одна из тех, у кого партия никогда ни в чем не виновата. Под этим углом зрения она и на мое выступление смотрит. Она уверена, что меня строго накажут, но она уверена также, что это наказание справедливо. Вместе с тем ей, по дружбе, хочется облегчить нашу участь. И она говорит: «Была на конференции. Все наши райкомовские говорят, что Петра можно спасти, только заключение психиатра о том, что он в этот период не признавал, что говорит. Я подошла к Бугайскому (директор районного психдиспансера), он тоже говорит, что это для Петра

лучший выход. Я его спросила, мог ли бы он дать такое заключение? „Как же я дам, – говорит он, – ведь он военнослужащий. Вот если бы он сам обратился ко мне, тогда другое дело. Я был бы обязан сделать заключение“. Я с ним условилась, что поговорю с тобой и завтра придем к нему».

– Нет, сказал я, – придется тебе идти к нему без меня.

Совсем поздно позвонил секретарь парторганизации кафедры полковник Зубарев и попросил прийти завтра к 9 часам утра на заседание партбюро нашей парторганизации. Я ответил, что нездоров, но если буду иметь хоть какую-то возможность двигаться, то обязательно приду.

На бюро я пришел. Речь шла о моем позавчерашнем выступлении. Докладывал секретарь парткома полковник Аргасов. Весь доклад состоял из муссирования слов «политически незрелый» и «лишен делегатского мандата». О содержании выступления не было сказано ни слова. Решение бюро: передать вопрос на обсуждение партсобрания кафедры.

Вынесение моего дела на бюро и партсоборание кафедры – дело незаконное. Согласно инструкции парторганизациям советской армии, персональные дела генералов обсуждаются в парткомах на правах районных комитетов партии, то есть меня должны обсуждать в парткоме академии. Я знаю это, но молчу. Я уверен, что меня провоцируют. Рассуждают так: «Григоренко – законник, поэтому запротестует против обсуждения на кафедре, а мы ему тогда скажем, что он народа боится».

– Нет, – думал я, – вы тоже законы знаете. И если нарушаете, вам и отвечать, а я вмешиваться не буду. Говорить со своими соратниками я не боюсь.

Аргасов после заседания ушел. Разошлись и члены бюро. А я еще задержался. Рассказал Зубареву – старшему преподавателю кафедры, одному из ведущих ее работников, содержание своего выступления на партконференции. Раздался звонок. Звонил Аргасов. Я сижу рядом с Зубаревым и слышу каждое слово.

– А когда собрание?

– Завтра или послезавтра после занятий.

– Нет, что ты. Я сегодня до 5 часов должен отправить в ЦК наше решение об исключении. А ведь кроме собрания надо и партком провести. Значит, вам надо собрание провести до 15 часов.

– Не знаю, как это сделать. Люди же на занятиях со слушателями. Посоветуюсь с членами бюро. Тогда позвоню. Слышали? – обратился он ко мне.

– Слышал. И уж если ему надо так срочно, то мне это не к спеху. Я пошел только для того, чтоб встретиться с членами партбюро. А вообще-то я болен и у меня постельный режим. Я пойду сейчас возьму освобождение и не приду на партсобрание, пока не кончится моя болезнь.

И я пошел в санчасть. Мой постоянный врач – Ефим Иванович Ковалев – великолепный терапевт и кардиолог, осмотрев меня и измерив температуру, воскликнул: «Где же

вы так простудились? Немедленно в постель. Отправляйтесь немедленно домой. Освобождения вам, как обычно, не надо?»

Я никогда освобождения не брал. На замечание начальника академии сказал: если полковнику в таком деле нельзя верить на слово, то не держите такого полковника на службе. А если уж нельзя без проверки, то пусть делают это так, чтоб я не знал. Пусть сама санчасть сообщает о болеющих. С тех пор (с 1949 года) я сообщал сам по телефону о том, что заболел, не представляя никаких справок. Сейчас я на это не мог рискнуть. Поэтому я сказал:

– Нет, Ефим Иванович, сегодня надо. – И я рассказал почему. Он сразу скис.

– Петр Григорьевич, вы извините, но я вас попрошу сходить к дежурному врачу. Гриппозное состояние у вас настолько очевидно, что вам, конечно, освобождение дадут и без меня, но если дам я, то могут подумать, что я это сделал из приятельских побуждений.

Я сразу поднялся. Сказал ему «эх, вы!» – и этим навсегда простился с ним. Дежурный врач без всяких разговоров дала мне освобождение. Перед уходом домой я зашел по просьбе начальника отдела кадров, к нему. Там меня уже ждал приказ министра обороны: «генерал-майор Григоренко П. Г. освобождается от должности начальника кафедры № 3 и зачисляется в резерв главкома сухопутных войск». Мотивировок никаких. Попробуй скажи, что это за выступление на

партийной конференции.

Проболел я 10 дней. Когда пришел после болезни, в академии уже был новый секретарь парткома, назначенный взамен избранного Пупышева. Старший преподаватель Аргасов перешел на роль заместителя секретаря. Мы долго говорили с новым секретарем. Он произвел на меня доброе впечатление. Когда я уходил, он вручил мне анкету «привлекаемого к партийной ответственности». Сказал: «Когда заполните, занесите мне». Заполняя анкету, я дошел до вопроса «За что привлекается». И тут я сплосал. Мне бы записать так, как оно было на самом деле: «За выступление на партийной конференции». Пусть бы за это и привлекали. А я, недооценив лицемерные способности политаппарата, решил, что могу загнать их в тупик. Я пришел к Ивану Алексеевичу и спросил: «А что мне написать здесь?»

– А ты что, не знаешь, за что привлекаешься?

– Почему не знаю? Знаю. За выступление на партконференции.

– Э, нет! Так писать нельзя! – даже вскочил он и схватился за анкету.

– Я тоже знаю, что за это привлекать нельзя. Вот поэтому я и пришел к вам.

– Оставьте анкету у меня. Мы подумаем.

Над формулировкой работали две недели. Участвовали все начальники кафедр общественных дисциплин. Несколько раз ездили на согласование в ЦК, к Пономареву. Но в

конце концов сочинили. Напрасно я им предоставил такую возможность. Мне надо было воспользоваться своим правом формулировать — за что меня привлекают. Я упустил это право. И мне сформулировали:

«За извращение линии партии по вопросу о культе личности и за недооценку деятельности партии по ликвидации последствий культа личности Сталина».

С этой формулировкой дело и потянулось. Но на партсобрании кафедры она не фигурировала. О собрании этом стоит рассказать. Оно, как я уже говорил, по закону не должно было состояться. Но партийной верхушке хотелось освятить совершенное на конференции беззаконие, одобрением партийной массы именно той организации, в которой я работал. Сначала сделали совсем просто. Уже 9-го в академии провели первую серию партийных собраний по итогам конференции. В этой серии были примерно половина слушательских партийных организаций и совместное собрание парторганизации ведущих кафедр (№ 1, 2 и 3). На все эти собрания было внесено предложение «осудить политически незрелое выступление генерала Григоренко». О содержании выступления фактически ничего сказано не было. И вот тут произошло неожиданное. Во всей серии собраний предложение было отклонено. Притом тактично только на партсобрании кафедр. Там выступил наш секретарь полковник Зубарев. Он сообщил, что я болен, и предложил рассмотреть вопрос обо мне после моего выздоровления. Собрание согласилось

с этим.

В слушательских организациях дело запахло скандалом. Везде потребовали зачитать стенограмму моего выступления, а в некоторых было выдвинуто предложение пригласить на собрание меня и рассмотреть вопрос в моем присутствии. Было несколько резких выступлений против решения конференции. «Почему нельзя свободно выступать на конференции?» «Что, опять вернулись времена культа личности?» – с возмущением говорили эти выступающие. В общем, осуждения не получилось. И в следующей серии собраний этот вопрос не только что не дебатировался, но приглушался. На вопросы из зала о моем выступлении везде отвечали: «Согласно инструкции парторганизациям советской армии, персональные дела генералов разбираются в парткомах на уровне райкомов партии». Однако нашей парторганизации было указано: «Обсуждать». Причина для меня была ясна.

На нашей парторганизации хотели взять реванш за провалы в слушательских парторганизациях. Расчет был прост. Против начальника (всякого, а кафедры особо) накапливаются обиды. Высказать же их поверженному начальнику не только не опасно, но, как в данном случае, даже выгодно. Думали, что достаточно будет высказать мнение конференции о моем выступлении, а дальше заговорят преподаватели о своих кафедральных делах, подчеркивая мои ошибки и просчеты. Расчет, в общем-то, верный. Так обычно и бывает в по-

добных условиях. Но здесь была обстановка особая. Наша кафедра образовалась из энтузиастов, которые пришли сюда с задачей создать новый предмет, которого они и сами толком не знали. Они учились и одновременно творили. Я для них был не столько начальником, сколько учителем, и при том таким, которого никто заменить не мог. Если возникали недоразумения, непонимание, неразрешенные вопросы, не к кому было обратиться за разъяснением, некому и не на кого жаловаться. Все, как бы трудно ни было, надо было решать на кафедре, в своем кругу. Все привыкли к этому.

На кафедре царила творческая, дружеская обстановка. Был всего один человек, который не вписывался в эту среду. Кибернетикой, исследованием операций, современной управленческой техникой и новыми методами управления он не занимался. Он вел «боевые документы» старой формы (боевые приказы, опер, и разведсводки, боевые донесения и т. п.). Это был заместитель начальника кафедры генерал-майор Янов. Чувствовал он себя на кафедре одиночкой и весьма неуютно, так как видел и чувствовал, что его «документы» постепенно уходят в прошлое. Вот он-то один и выступил с осуждением.

Остальные 18 членов кафедрального коллектива заняли единственно возможную позицию защиты меня. Они не высказывались против осуждения моего выступления. Наоборот, они «за», но только они считают необходимым прочитать стенограмму моего выступления. А это как раз то, чего

руководство допустить не может. И вот 5 часов подряд идет «толчея воды в ступе». «Варяги» один за другим выступают, уговаривая наших коммунистов осудить меня. А «варягов», то есть не членов нашей парторганизации, много. Начальник академии, секретарь парткома, зам. секретаря парткома Аргасов, три начальника кафедр – общественных наук (марксизма-ленинизма, партполитработы, политэкономии) и два представителя главупра – 8 человек на 18 наших членов партии. И выступают они по несколько раз.

А наши коммунисты, как сговорившись, твердят: «Дайте нам стенограмму, и мы с радостью дадим оценку действиям нашего коммуниста. Без этого же мы просто не знаем, о чем говорить». Задача же «варягов» состояла именно в том, чтобы уговорить принять решение об осуждении выступления, не знакомясь с его содержанием. Позиции были несовместимыми. Казалось, нет выхода. Всем надоело, а как кончать – неизвестно. И вдруг самый молодой по возрасту, по партийному стажу и по времени пребывания на кафедре адъюнкт выступает с заявлением:

– По-моему, – говорит он, – выявились два предложения. Первое: осудить выступление генерала Григоренко как политически незрелое, и второе: просить партийный комитет академии ознакомить коммунистов кафедры со стенограммой выступления тов. Григоренко и после этого решить вопрос о привлечении его к партийной ответственности. Я предлагаю голосовать эти предложения. Все «варяги» буквально «в

штыки бросились» против этого предложения, но зато коммунисты кафедры встали на его защиту. И тогда поступает еще одно предложение: «Прекратить обсуждение и голосовать».

Председательствующий провозглашает: «Кто за то, чтобы прекратить обсуждение и перейти к голосованию». Все коммунисты кафедры, кроме Янова, подняли руки, «Принято предложение прекратить обсуждение. Переходим к голосованию. Кто за...» начал председательствующий. В это время раздался голос секретаря парткома: «Минуточку! Голосовать не будем. Дела в отношении генералов могут, согласно инструкции ЦК, разбираться только в парткомах на правах районных комитетов. Мы у вас поставили этот вопрос не для решения, а для информации коммунистов. Поскольку цель информации достигнута, мы на этом и закончим собрание, а принятие решения о Григоренко перенесем на заседание парткома».

Так и не удалось притянуть «голос масс» на защиту ЦКистского произвола. Спасибо тебе, академия, за это, спасибо тебе, родная кафедра. На большее вы были неспособны, но для меня и это было много. Ваша позиция укрепила мой дух.

Через несколько дней состоялось заседание парткома, с единственным вопросом: «Рассмотрение персонального дела П. Г. Григоренко».

Рассказывать особенно нечего. Выступили почти все чле-

ны парткома. И все осуждали меня за выступление на конференции. Но никто не затронул коренного его смысла. Обвиняли в том, что не высказал эти взгляды в своей парторганизации. Мое упоминание о Ленине было преподнесено, как «сравнивает себя с Лениным». Говорили, что я не понимаю смысла программы, как «документа великого теоретического значения» и пытаюсь подменить большие вопросы всякими «мелочами» вроде «обворовывания покупателя». Указывали на то, что я недооцениваю работу, сделанную партией по ликвидации последствий культа Сталина, и что я вообще не понимаю политику партии в этом вопросе.

Я в своем выступлении продолжал отстаивать взгляды, высказанные на конференции: 1) выступать я имел право, а наказывать меня за это не имели права; 2) никто не сформулировал, в чем ошибки моего выступления и никто не говорил о них; 3) если бы даже выступление содержало ошибочные взгляды, то наказывать за это нельзя. Такие взгляды можно только опровергать, но и я имею право их отстаивать (§ 3 Устава КПСС) до принятия решения партией, то есть до утверждения программы XXII съездом; 4) Президиум не имел права перенести обсуждение уже решенного конференцией вопроса (о лишении меня – предложение Бирюзова – права участвовать в конференции) на рассмотрение по делегациям и в мое отсутствие, то есть еще с одним нарушением устава. Исходя из изложенного, я считал, что мои (уставные) права члена партии грубо нарушены и просил партком дове-

сти об этом до ЦК партии.

В ходе прений были высказаны два предложения: – объявить строгий выговор с предупреждением и с занесением в учетную карточку, – объявить выговор.

После моего выступления председательствующий запросил, «нет ли еще предложений». Их не было. Решили перейти к голосованию. В это время попросил слова Курочкин. Он еще не выступал, как не выступал и Иван Алексеевич. Курочкин предложил «удалить Григоренко из зала на время голосования». Такая процедура применяется, и я с этим спорить не стал. Удалился.

Что же происходило без меня? Курочкин, по-видимому, хотел, чтобы это осталось неизвестным мне. Но он, наверно, не знал, что когда человек обжалует решение любой партийной инстанции, его обязаны ознакомить со всем протоколом и всеми материалами, прилагаемыми к нему. И сухая протокольная запись рассказала мне все. Когда я вышел, взял слово Курочкин и обрушился на поступившие предложения: «ЦК считает, что ему не место в партии, а у нас нет даже предложения об исключении из партии». Председательствование взял на себя Иван Алексеевич. Он сказал: «Итак, у нас три предложения (он перечислил их). Я боюсь, что при таком количестве голосование может быть неубедительным, так как голоса разобьются (состав парткома 21 человек)». Он предлагал, кроме альтернативного предложения (исключить), оставить одно из первых двух.

Он спросил, не согласятся ли те, кто выдвинул «выговор», снять свое предложение. Те не согласились. Не удалось снять и другое. Тогда он предложил эти два предложения заменить новым «строгий выговор». С этим согласились. По мотивам голосования выступили 5 человек. За исключение высказались Курочкин и начальник первой кафедры генерал-майор Петренко. Они только и проголосовали за исключение. Это и хотел скрыть от меня Курочкин. Но не вышло. И я имею приятную возможность еще раз сказать академии «спасибо». Партком не мог избавить меня от кары, но у него хватило мужества сделать ее минимальной. Это несомненно сдержало дальнейшие репрессии против меня. Партбюрократия вынуждена была считаться с тем, что симпатии академического коллектива на моей стороне. Выгоднее было дело потихоньку затушить. Тактика торможения себя оправдала. В первый день могли, безусловно, исключить. А теперь кончилось, как обычное партийное дело, «строгим выговором». И это давало мне возможность перейти в наступление.

Я подал жалобу на решение парткома в парткомиссию 2-го Главного управления Главупра. В жалобе всесторонне обосновывалась незаконность наложения взыскания за использование своего законного права. До заседания парткомиссии жалоба рассматривалась в моем присутствии сначала партследователем, потом секретарем парткомиссии генерал-полковником Шмелевым. Вот тут-то я и понял, по-настоящему, силу лицемерия составителей моего обвинения.

– На что вы жалуетесь? Вас наказали не за выступление.

– А за что же? – Он раскрывает мое дело и читает: «За извращение линии партии по вопросу о культе личности и за недооценку деятельности партии по ликвидации последствий культа личности Сталина».

– А где же это я извращал и недооценивал?

– Ваше выступление на партийной конференции.

– Значит, за выступление?

– Нет, выступать вы имели право.

– Так за что же меня наказали?

В ответ снова зачитывается вышеприведенная формулировка.

Так мы и толклись на месте, разговаривая, как двое глухих. На том и разошлись. Потом состоялось заседание парткомиссии, которое отклонило мою жалобу и подтвердило решение парткома академии. Я обжаловал в партколлегию Комиссии партийного контроля ЦК КПСС.

Партколлегия ЦК КПСС – своеобразное учреждение. Как во всех цекистских учреждениях, сотрудники здесь изобильно обеспечены. Мой друг инженер-майор Генрих Ованесович Алтунян, который через 7 лет после меня тоже побывал в этом учреждении, красочно описывал партколлегийные буфеты и яственное изобилие в них. Это описание попало в «самиздат» и привело к тому, что проход в районы буфетов для приглашаемых в партколлегию оказался закрытым.

Я буфеты не посещал, не видел то красочное изобилие и

не вкусил от тех благ, но зато я хорошо разобрался в организации работы партколлегии и в том, как подбираются туда кадры и как «ударно трудятся» они «на благо коммунизма». Партколлегия – учреждение двухэшелонное. В первом эшелоне, на фасаде, так сказать, партследователи. Это люди особого подбора: внешне приветливые, мягкие, внимательные, чуткие. Такие ли они по натуре или так вышколены, но встречают они жалующихся классно: обволакивают их своим вниманием и заботливостью и тем создают авторитет своему учреждению. Но решают не они. Цитаделью учреждения является сама партколлегия. Здесь тоже подбор, но совсем иной. Членами партколлегии назначаются вторые секретари обкомов, которые в своем моральном падении дошли до такого состояния, что их, даже при нашей системе выборов, нельзя предложить ни на какую выборную должность. И тогда ЦК назначает их членами партколлегий.

Моим партследователем был невысокий худой человек по имени Василий Иванович (фамилию я забыл) с очень внимательными и ласковыми глазами. Доброжелательность буквально лилась из него. Он так внимательно слушал и так сочувственно кивал головой, что невольно хотелось выложить все свои мысли со всей откровенностью. Член коллегии, шеф Василия Ивановича, Фурсов, полный, среднего роста мужчина с лицом ничего не выражающим и с глазами тупыми и безразличными, был снят с должности второго секретаря обкома за взятки, и теперь трудился над повышением

морального уровня партии.

Работали все члены партколлегии «с энтузиазмом»... 4—5 часов... в неделю. Они приходили на работу только в день заседания партколлегии. Заседания были один раз в неделю, продолжительность 3—4 часа. Члены партколлегии являлись за час до заседания, уезжали сразу по окончании. Время до заседания они использовали для прослушивания партследователей по делам, назначенным на данное заседание. Фурсов мое дело прослушал, например, так: к нему зашел Василий Иванович. Через 2—3 минуты позвал меня. Полусонным, безразличным взглядом Фурсов окинул меня и лениво сказал: «Ну, вы там держитесь поскромнее, и все будет в порядке». И никаких вопросов.

Сколько таких дармоедов в партколлегии, я не знаю. Во время разбора моего дела присутствовало около двух десятков. Но все ли они трудились в тот день или некоторые из них, «от безделья приустав, уехали отдыхать».

Заседание происходило в огромной, по площади и по высоте, комнате. Входя в зал, направо видишь наружную стену с четырьмя большими старинными окнами, чуть ли не во всю высоту стены. При взгляде влево видишь вблизи другой (внутренней) стены, вдоль нее, огромнейшей длины широкий стол под зеленым сукном. По обеим длинным сторонам стола сидят люди, по-видимому, члены партколлегии. У дальнего торца стола кресло с высокой судейской спинкой. Рядом с креслом стоит полный широколицый человек в от-

личнейшем темного тона костюме. Лицо кого-то напоминает. Ага, Сердюк – первый заместитель председателя партколлегии. Слева от него, первым за длинной стороной стола, сидит мой партследователь. Перед ним раскрытая папка, и весь он полная готовность немедленно вскочить и докладывать. Фурсова не вижу. Ах, нет! Вот он, примерно посередине на другой, длинной стороне стола. Противоположный от Сердюка торец никем не занят. По жесту Сердюка, когда я, шагнув в комнату, нерешительно остановился, понял, что мне нужно идти именно туда. Позади предназначенного мне места, у стены ряд стульев. На них сидят: полковник Аргасов, генерал-полковник Шмелев и еще кто-то.

Я направился к своему месту. На мне гражданский костюм. Догадаются или нет, но я этим подчеркиваю, что здесь я только член партии и признаю только партийные законы и партийную дисциплину. Я не представляю себе, как обернется дело здесь в ЦК. После мягко-заботливо-сочувственного отношения Василия Ивановича и лениво безразличного Фурсова: «Ну, вы там держитесь поскромней, и все будет в порядке», можно было ожидать чего угодно, но, во всяком случае, не ужесточения отношения ко мне. Но произошло неожиданное даже для Василия Ивановича. Да очевидно, и для Фурсова. Сообщения партследователя о моем деле слушать не стали.

Я еще не дошел до своего места, как раздался голос Сердюка:

– Ну, что, наболтался!

– Я не понимаю Вас.

– Не понимаешь? Наивный какой. Все ты прекрасно понимаешь. Это ты здесь такой смирный, а как попал среди «любителей жареного», так вон как заговорил. Оклады его высокие, видишь ли, не устраивают. Так это же ты не себя имел в виду, не свой высокий оклад...

– Я себя от партии не отделяю, – врываюсь я в его тираду.

– Не отделяешь! Ишь ты какой святой! Все ты прекрасно различаешь и разделяешь. Ты не о своем высоком окладе думал, когда говорил об этом. Ты был уверен, что как высококвалифицированный специалист имеешь право на свой высокий оклад. Ты о *моем* высоком окладе думал, когда говорил об этом... – нажал он на слове «моем». – Сменяемость ему, видите ли, нужна. Так ты ж не о своей сменяемости думал. Ты же специалист и в смене не нуждаешься. Ты же думал не о том, чтоб тебя сменили, ты хочешь, чтоб *меня* сменили.

И он уставился взглядом на сидение своего кресла и туда же ткнул пальцем.

– Демократия ему нужна! Это, чтобы всякая шваль могла вмешиваться в работу советских и партийных учреждений и мешать работе добросовестных работников, дезорганизовать их работу. Свободные выборы ему нужны. Это, чтобы всякие демагоги могли чернить добросовестных коммунистов, клеветать на них, мешать народу выбрать достойней-

ших. Развел такую демагогию и еще имеет нахальство жаловаться. Не по закону, видите ли, с ним поступили. Не будем мы твоими хитрыми клязузами заниматься, слушать здесь твою демагогию, можешь идти!

Я молчал. Одна только мысль билась в голове: «Бандиты! Гангстеры! Мафия!» Мне хотелось схватить стул и бить по этим бандитским головам, все крушить в этой комнате. Если бы я раскрыл рот, то из него могла вырваться только страшная ругань. Поэтому я сжал челюсти до боли в зубах и выходил, молча. Когда я был уже у двери, Сердюк, продолжавший высказывать свое возмущение, крикнул Аргасову: «Что же вы не исключили его? Мы бы подтвердили. Его же не исправишь. Все равно придется исключить».

«Ну и банда!» – выдохнул я воздух, сжавший мне грудь, выйдя в приемную. «Они по уставу имеют право исключать из партии. Но они хотят, чтобы мы сами исключали друг друга. А они лишь подтверждать будут. Ну и бандиты!»

В приемную выскочил Василий Иванович. Он был смущен и растерян. Веру в его добропорядочность и сочувствие мне я потерял во время тирады Сердюка. «Порядочные люди не могут работать в таком учреждении», – подумал я тогда. Но сейчас, при виде его растерянного лица, мне стало жалко этого человека. Он пошел вперед, пригласив меня следовать за ним. Вручая мне пропуск, сказал:

– Я не понимаю, что произошло. Никогда такого не было. Но ничего. Из партии ведь не исключили. А строгий выго-

вор! Пройдет полгодика, и снимем. Не падайте духом, тов. Григоренко!

– Да я и не падаю. Благодарю за сочувствие. До свидания...

Я вышел на улицу. Светило солнце. Сверкал белизной недавно выпавший снежок. По скверу к площади Ногина и к улице Куйбышева шли отдельные прохожие. Я вышел из больших богато обставленных светлых комнат, но у меня чувство, будто я вырвался из темного, сырого подвала. И я с радостью вдыхал свежий морозный воздух. Это было 19 декабря 1961 года. Я направился к набережной, и по ней пошел к себе в Хамовники. Туда, где ждут меня родные, любимые, тесный круг людей, которые помогут мне забыть бандитские хари «хранителей партийной морали». Мысли невольно возвращались снова и снова к событиям происшедшим во время заседания. И снова ком подкатывался к горлу, и снова охватывало раздражение, что я молчал, когда он издевался над моими идеалами. Приходили острые и глубокие мысли, и хотя я понимал, что они запоздали и что если бы даже пришли вовремя, то их незачем и не для кого было бы употреблять. Однако было какое-то злое наваждение мысленно громить этого чинушу.

Наконец я дома. Жена ждет рассказа. Да и мне надо «разгрузиться». Подробно рассказываю и завершаю: «да ведь это же бандиты. Растленные, разложившиеся типы».

– А ты это только узнал? Мне это давно известно. Но

уж раз знаешь, теперь и веди себя соответственно. Голову в пасть зверю сам не клади. – Сказала, как итог подвела.

Мы приобрели новые знания, новый жизненный опыт. Вместе с тем нарушенные партийные мои дела приведены к какой-то стабильности. Теперь можно было начинать и разговоры о делах служебных. До этого никто на сию тему говорить не хотел. Даже Чуйков, который всегда удовлетворял мои просьбы о приеме, когда речь заходила о назначении, говорил: «Разрешите партийные дела, тогда будем говорить и о назначении». Теперь я пошел к нему снова с этим вопросом.

– Ну что, утвердили «строгий выговор»? – задал он вопрос, как только я уселся в кресло перед его письменным столом.

– Да!

– Кто председательствовал? Сердюк?

– Да!

– Ну, как он?

Попробуй ответь на такой вопрос. Или попробуй хотя бы понять, к чему он. Я понял так, что Чуйкову хочется узнать, какое впечатление произвел на меня Сердюк. О Сердюке ходячее мнение как о невероятном хаме. Как о гражданском Чуйкове. Кстати, они и дружили между собой, когда Чуйков был командующим Киевским военным округом, а Сердюк – секретарем Львовского обкома КПСС. Не знаю, какого ответа хотел от меня Чуйков, но тот, который я дал, его вряд ли удовлетворил. Я ответил: «Ну что ж Сердюк. Он от ме-

ня далеко стоял. Он председатель, а я штрафник. В общем, прочитал мне нотацию и оставил все, как было».

– Ну, это хорошо, что так оставили. Хуже было бы, если бы исключили, – и внезапно, показывая свою осведомленность, добавил: – Вы правильно себя вели. Если бы вступили в спор, так бы благополучно не закончилось.

– Но закончилось, товарищ маршал Советского Союза. Теперь я прошу решить вопрос о назначении. Уже четвертый месяц на исходе, как я безработный.

– Ну, а на что вы претендуете?

– Ну, кафедру мне теперь, естественно, не дадут, но я человек не гордый, согласен пойти на должность старшего преподавателя на свою же кафедру.

– Нет, о преподавательской работе не может быть и речи. Вас нельзя подпускать к молодежи.

– Ну тогда старшим научным сотрудником в НПО.

– Нет, академия вас не возьмет ни на какую должность.

– Ну тогда старшим научным сотрудником в любой из вычислительных центров Министерства обороны.

– Нет, в Москве мы вас не оставим.

– Ну, тогда подбирайте мне должность сами.

– Хорошо. Как только подберем, я вас вызову.

Вызвал он меня через неделю.

– Предлагаю вам на выбор три должности.

1) Облвоенкомом в Тюмень.

2) Заместителем начальника оперативного управления

военного округа в Новосибирск.

3) Начальником оперативного отдела штаба армии в Уссурийск.

– Первое предложение просто несерьезно. Я уж не говорю, что мне надо будет осваивать совершенно новую для меня отрасль работы. Дело в другом. Облвоенком заметная в области фигура. Как правило, член бюро обкома. И естественно, как только придет мое личное дело, обком спросит у вас: «Кого вы нам прислали?» А то так еще хуже. Прямо пошлют жалобу в ЦК.

Чуйков согласился со мной и первое предложение снял.

– Второе. Вы знаете значимость Сибирского военного округа. Я еще до войны занимал аналогичную должность в штабе Дальневосточного фронта. Здесь мне просто будет делать нечего. Поэтому на сию должность только по приказу.

Чуйков и с этим согласился.

– Значит, у меня имеется фактически только одно предложение. И если вы так богаты кадрами, что можете давать на должность начальников оперативных отделов армий начальников ведущих кафедр академии, то я не против того, чтобы занять такую должность.

В первой половине января 1962 года состоялся приказ о назначении меня начальником оперативного отдела штаба 5-й армии. Это было то, на что я согласился, поэтому неожиданностью приказ не был. Меня удивила только одна деталь. В приказе было написано «назначается начальником опера-

тивного отдела», а было принято писать полное наименование должности «начальник оперативного отдела – заместитель начальника штаба армии». В моем приказе «заместитель начальника штаба армии» выпал. Но я этому значения не придал. Только по прибытии к месту службы я понял, что это не случайная описка.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.